

М. П.
АРЦЫБАШЕВ

Избранное



Михаил Петрович Арцыбашев

Смерть Башкина

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2849085

Аннотация

«Мне только тридцать лет, а когда я оглядываюсь назад, мне кажется, будто шел я по какому-то огромному кладбищу и ничего не видел, кроме могил и крестов. Рано или поздно где-нибудь вырастает новая могила, и каким бы памятником ее ни украсили, простым крестом или гранитной громадой, все равно – это будет все, что от меня останется...»

Михаил Петрович Арцыбашев Смерть Башкина

Мне только тридцать лет, а когда я оглядываюсь назад, мне кажется, будто шел я по какому-то огромному кладбищу и ничего не видел, кроме могил и крестов. Рано или поздно где-нибудь вырастает новая могила, и каким бы памятником ее ни украсили, простым крестом или гранитной громадой, все равно – это будет все, что от меня останется. В конце концов, это и не важно: и бессмертие вещь скучная, и жизнь мало любопытна. Скверно то, что смерть страшна, и, пожалуй, так и не решишься собственноручно отправить себя к черту; будешь жить долго, долго идти по этому кладбищу, которое называют жизнью, и мимо, бесконечно вырастая, все будут мелькать новые кресты. Все дорогое, все милое останется позади, и добредешь до конца один, как перст.

Вот умер и Башкин. Еще одним из тех, с кем вышел я на литературную дорогу, стало меньше.

А впрочем, и хорошо сделал, что умер. Радости в его жизни было так немного, что ее не хватило бы и на один день существования самого среднего обывателя. Времена, когда литература была кладезем всяческой добродетели, давно прошли. Из всех щелей полезло в наш мирок столько дряни,

начался такой кабак, такая биржа, что скромному, тихому Башкину было в нем так же хорошо, как васильку, брошенному в пыль на базарной площади. Может быть, в былые времена тихая прелесть его души и задумчиво нежного дарования оценились бы иначе, но теперь, на большой дороге литературы, в шуме и грохоте купли и продажи, в хитросплетенной борьбе интриг и рекламы нужны крепкие руки, могучая мысль, жестокое сердце. Ничего этого у Башкина не было, и он жил в затоне, бедствовал, надрывался и умер, как подobaет русскому писателю, в чахотке.

Мало кто знает его, имя Башкина не займет в литературе большого места. Талант у него был небольшой; вся прелесть его заключалась в том, что сам Башкин был милый, кроткий, искренний до глубины души, хороший человек. Эти личные качества отражались в его работе, как голубое небо в чистой воде, и придавали его маленькому таланту своеобразную, задумчивую прелесть.

Когда-нибудь, если я исполню одно из своих желаний – оставить широкую картину из жизни тех, которых судьба определила быть солью земли, ловцами человек и которые сделали из литературы вертеп мелких жуликов, – я дам в романе и тип Башкина, верный той светлой памяти, которая осталась во мне о нем. Теперь лицо его еще слишком близко, мелочи воспоминаний мелькают перед глазами слишком пестро. И слишком ярки передо мной три картины, три момента его смерти и похорон, которым обобщения я еще дать

не могу.

Я не видал Башкина около года. Одна и та же болезнь у обоих разбросала нас по разным углам. И только за день до его смерти мы увиделись в последний раз.

Когда я вошел в комнату, Башкин спал: под морфием, странным и страшным сном. Кто-то держал свечу, и желтый свет пятнами колебался на потолке и стенах со странным рисунком обоев. Почему так поражает иногда какая-нибудь мелочь? А я помню, что с жутким чувством посмотрел на эти обои; вокруг всей комнаты, в странных и грубых линиях шли какие-то гитары, и почему-то было неприятно и даже противно думать, что они никогда не играли... Свет ползал по стенам, безмолвно-розовым рядом вытягивали гитары свои тонкие нарисованные шеи, и на постели с хрипом и свистом подымалась грудь человека, который в эту минуту, может быть, со страшной силой боролся где-то на грани жизни и смерти. Быть может, это была агония, и Башкин умер бы, если бы мы его не разбудили. В первую минуту, когда он открыл глаза, Башкин, очевидно, ничего не сознавал. Странен и страшен был взгляд этих прямо на меня устремленных, как будто откуда-то из страшного далека смотрящих глаз.

– Василий Васильевич, – позвал я.

И вдруг взгляд изменился. Как будто что-то ужасное и непонятное исчезло от звука моего голоса. Знакомое выражение ласки и приветия появилось на полумертвом лице, и больной потянулся ко мне навстречу. Я нагнулся и поцело-

вал его. И вдруг Башкин обхватил мою голову, прижал к груди, в которой хрипело, клокотало и билось что-то, стал нежно-нежно, как мать ребенка, гладить меня по голове. Молча, как будто с великой любовью, и как будто с нежной жалостью, и будто прося меня защитить и спасти его.

И странно. Я, встретивший Башкина с самого первого его рассказа, всю жизнь помогавший ему, всегда бывший старшим его защитником и покровителем, в эту минуту, слыша, как что-то грозно хрипит и клокочет в его груди, а рука его слаба скользит по моим волосам, чувствовал себя маленьким, ничтожным и слабым.

Не от рождения, а от близости смерти надо считать года человеку. Что знал Башкин, что он пережил, я узнаю еще не скоро. И мой хваленый талант, мое имя, Боже мой, как они были ничтожны перед той последней мудростью великой любви и жалости, которую дала Башкину смерть, стоявшая тут же, рядом с нами.

Когда-то мы много спорили с Башкиным. Мои взгляды известны. Много времени мы прожили вместе, и я, как более сильный, давил его своим авторитетом. Теперь настало время подвести итоги. Один из нас кончал последнюю страницу своей жизни. И я спросил его с жутким любопытством:

– Ну что ж, Василий Васильевич, сошлись или разошлись еще больше мы с вами теперь?

Башкин, не улыбаясь, прямо, светлыми и добрыми глазами посмотрел мне в лицо.

– Разошлись, – сказал он. – Надо любить и жалеть всех. Что ж, может быть, он и прав. Не знаю.

Но, кроме злости и ненависти, что могло быть у меня в душе, когда мы провожали гроб Башкина в могилку.

Как мало было провожатых! Среди огромного белого поля, по колено в снегу, заносимые метелью, какие маленькие и жалкие, должно быть, казались мы. Белый гроб медленно колыхался впереди, метель секла и трепала две-три цветные ленточки венков, ничего не было видно кругом, кроме белого поля да неустанно несущейся белой метели. Я шел за гробом, проваливался в снег и в сотый раз прочитывал надпись на венке:

– Дорогому отцу и мужу от жены и сына. – Это был маленький и жалкий веночек, и надпись была не на ленте, а на жестяной дощечке, какую прибывают на крестах последнего кладбищенского разряда.

Я читал и думал о том, что у меня в кармане лежат две-сти рублей, с трудом собранные мною для семьи Башкина. Думал о том, что жена Башкина еще не знает о его смерти, думал о том, что она родила почти в тот же день, когда он умер, думал еще о том, что же будут делать его «жена и сын» дальше? Думал еще о том, что ведь это все же «похороны писателя», и, ей-Богу, странно было в эту минуту требовать у меня любви и жалости к тем миллионам купцов, царей жизни, зверей и мерзавцев, которые что-то жрали, ворча и рокоча утробой громадного города, смутно синевшего на краю

горизонта, за пологом неустанной метели.

Да будь они трижды прокляты все!

А нечто и светлое осталось в душе от этих похорон. Почему светлое, когда в сущности – ерунда, мелочь и случайность – не знаю, а что-то осталось.

Когда мы опускали гроб в могилу, вырытую на крестьянском кладбище, метель прошла. Был светлый, белый, чистый зимний день. Пахло морозом, и в круглых белых шапках стояли кресты. Стая голубей Бог знает откуда налетела на могилу. Трепеща крыльями, голуби носились между нами. Один все порывался сесть на гроб и, отлетая, садился на ближайший крест. Красиво было.

Может быть, оправдание всего мира и есть в красоте? Может быть, все существует только для того, чтобы была красота?

Красота голубей, белого зимнего дня, белого гроба, тихой грусти, прелести умершей милой души Башкина.

Петербург, 1909